

Нет травинки внизу, у которой бы не было
ангела, который бьет ее и заставляет расти.

Талмуд

Часть первая

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...

My name is Lena Popova. I was born on March 14, 1985. I live in posyolok Uritskogo.

Дом наш двухэтажный, длинный, на два подъезда, с угла осыпалась штукатурка и видны ряды красного кирпича, как мышцы под кожей. Над дверью прибит козырек, с которого зимой всегда свисают сосульки-сопельки.

Лестница деревянная, под ней летом прячут велики и тазы, в которых у колонки стирают белье.

Правда, однажды велик нашего соседа Ильки Наппельбаума уперли, хотя он и старый был очень (велик, не Илька, хотя Илька тоже немолодой). Наверно, велик угнали на ту сторону, за железную дорогу. У нас бы он попался на глаза. Тут все друг друга знают: и люди, и велики.

В подъезде живут кошки, несколько, все родственницы. Наши люди оставляют им еду в мисочках, но кошки дикие, на руки не идут. Я помню нескольких сереньких, как пыль, и одну черную с желтыми глазами.

Сестре они нравились. Она бегала за ними, пыталась поймать. Сестра была такая неуклю-



жая, пухлая, колготки на попе все время отвисали, как будто она обкакалась. И ремешки на сандаликах всегда затянуты недостаточно туго (не знаю почему, я старалась), так что обувь могла слететь с ноги. Сестра бегала не так, как взрослые, а вразвалочку, труся попой, очень смешно — но быстро. А я ее ловила. Кошки прятались где-то наверху, может на чердаке. Она бежала за ними по ступеням лестницы, а я мчалась за ней, ловила, хватала — она была тяжеленькая — и тащила домой... а сестра ревмя редела, потому что ей не дали поймать котика. Мне казалось, кошки смеялись над ней, глядя откуда-то из темноты светящимися круглыми глазами.

Из садика сестру забирала я. Обычно самым сложным было натянуть на нее колготы, потому что я, как и она, не могла понять, где зад, а где перед. Но если пятки оказывались на месте носков, начинался рев: мировая гармония нарушена. Пуговицы на кофточке ей нравилось застегивать самой. Медленно-медленно, непослушными пухлыми пальчиками. Пыхтя, как будто тащит мешок с мукой. Я переминалась с ноги на ногу — сколько еще ждать. Но если начать помогать — снова примется реветь. Шубу (из искусственного жесткого меха, раскрашенного под леопард, который папа называл «леопёрд») она милостиво позволяла на себя надеть. И шапку. Мне всегда нравилось, как сестра запрокидывает голову, чтоб я завязала тесемки. Хоть в чем-то слушается.

Я вела ее за руку, мы шли по улице, общаясь друг с другом и с грязью под ногами.

Сестра рассказывала мне про садик. У нее в словах все путалось, а может, я не так ее понимала.

— Мы игали... пеканка с гоошиком... исовали зайку... я спю, а они ууу...

— На чупик!

Чупики мы любили больше всех конфет — их хватало надолго. Если удавалось сходить в магазин и «забыть» отдать маме сдачу, я покупала нам с сестрой чупики.

— Вкусно?

— Угу.

— А вкус какой?

— Угу.

— Клубничка?

— Угу.

— А может, малинка?

— Угу.

— Собачья кашка?

— Угу.

Ну все, от сладкого у нее всегда так: мозги, которых и так немного, вырубаются.

Возле дома во дворе есть качели и песочница, но зимой дети в ней не играют, и это просто кошачий туалет.

Еще у нас посреди двора будка трансформаторная, а жильцы из дома напротив протянули к ней веревку, на которой сушат белье. Возле дома растет дерево. Я не знаю его по имени-отчеству, просто дерево. На нем сидит слон. Слона, видимо, кто-то выбросил из окна, не знаю, как он там оказался. Он вымок под дождем, уши и хобот поникли. Мне жалко слона, но я не смогу снять его.

Сестра всякий раз обращает на него внимание.
— У-гу! — кричит она, не доставая изо рта чупа-чупс.

— Слоник, — говорю я. — Слоник на дереве.
Ему грустно.

Может, теперь она до конца жизни будет думать, что слоны живут на деревьях. Может, она до конца жизни будет жалеть всех, кто мокнет под дождем и грустит. Никогда не знаешь наверняка.

— Хочешь покататься?

Качели мокрые, но она в шубе, не почувствует.

Раскачиваю ее, качели поскрипывают. Железо мокрое, рука скользит.

— Взрыва-а-а-ая выше ели, не ведая преград...

Я пою во весь голос, от холода в горле больно, но я все равно ору.

Сестра подпевает. Чтобы она не повторила ошибку вороны из басни, я забрала у нее чупик и держу в свободной руке.

Мимо идут соседи. Кто-то — на колонку за водой, кто-то в магазин. Всем я кричу:

— Здравствуйте!

Мне нравится это слово. Оно звонкое, как наш большой железный будильник.

Со мной здороваются, кивают. Вот мимо проходит Тень — так я ее назвала за то, что она всегда молчит и одевается в темное. Про нее я ничего не знаю, но немножко ее боюсь. Вечером она всегда куда-то уходит, я часто ее вижу.

— Еще, еще!

Я катаю сестру до тех пор, пока не устает руки. Потом спускаю ее на землю. Сама того не

заметив, сую себе в рот ее чупа-чупс. Но малая уже забыла, что это ее конфета: она видит кошку:

— Котя!

Кто бы мог подумать, что этот ком шубы может так проворно бежать! Я влетаю в подъезд за ней, а она уже топ-топ-топ на второй этаж. Ловким прыжком пытаюсь преодолеть пару ступенек — и падаю, хорошо, что в мягкой куртке, падаю на лестницу, и сестра, задетая моей рукой, падает... Тут же раздается рев, оглушительный, как американское «нооооу» из фильмов, в которых кого-то убивают.

— Ко-о-о-отя!

Волоку шубошар домой, вытираю ему нос и грею суп. Включаю телик. Запах супа щекочет ноздри, реклама веселит душу. Все хорошо.

Под телик едим. Потом я делаю уроки, а она играет с кубиками. Складывает что-то, строит. Она еще не знает букв, и в том-то и прелесть, что иногда все-таки получаются слова. Например, в этот раз сложила паровозиком: АПРУСМКО-ТЫШ, и я ясно вижу котов посреди этого безобразия. Так странно видеть, как иногда из полного хаоса рождается жизнь. Если где-то есть жизнь, то там точно есть коты.

Я пытаюсь решить примеры, грызу колпачок ручки, запихиваю его в нос (я знаю, что это тупо, но почему-то хочется).

Ничего не решается. В голове мутится, щеки горят.

Когда приходит мама, она тут же догадывается о неладном, прикладывает к моему лбу ладонь:

— Жар.

Сестра спит на ковре. Она тоже полыхает.

Мы обе заболели.

Мама разносит нас по постелям, раздевает, поит какими-то таблетками, ругает, но я проваливаюсь в сон, где бегаю и бегаю по бесконечным лестницам, а от меня удирают серые, как будто слепленные из пыли кошки, которые выскальзывают из пальцев, как клочки тумана, и уносятся вперед, видимо, они прячутся на чердаке, а я все бегу за ними, и откуда-то не пойми откуда доносится детский смех.

Больные сны всегда такие странные.

Я поправилась первая, а вот сестра заболела серьезно. Она много кашляла, задыхалась. От ее кашля никто не мог уснуть. Я думала о том, что в горле у нее, наверное, как будто наш дворник своей корявой метлой с обломанными прутьями шкрябает. Мама суетилась вокруг нее, поила сиропом с ложечки. Но однажды, когда сестра особенно долго надрывалась, папа не выдержал:

— Тань, в скорую надо, она ж задохнется сейчас!

Я помню папин решительный вид: он стоял у телефона в полосатых семейных трусах и белой майке, на шее у него на крученой веревочке болтался крестик, который ему когда-то надела бабушка Нина, хотя он и сопротивлялся. Я подумала: какой папа красивый. Не знаю, в чем была та красота. Может, если бы я тогда его сфотографировала, сейчас поняла бы.

Приехали доктора и забрали маму и сестру. Их увезли в больницу, далеко от нас. Мы с папой остались одни.

Папа вставал очень рано, потому что до работы ему было далеко добираться. Он работал инженером на вагоноремонтном заводе. Я не очень понимала, чем конкретно он занимается, но зато от мамы постоянно слышала, что вот нам повезло, папа работает на железной дороге, нам дали жилье, какое-никакое. А так бы теснились с бабушкой в одной квартирке. Я была не против жить с бабушкой и не понимала, чем плохо тесниться (я не догадывалась тогда, что маме с бабушкой жилось настолько тяжело, что проще здесь, в бараке без водопровода).

В окнах было черным-черно, когда будильник начинал надрываться и просыпался папа. Я слышала, как он идет на кухню, как гремит чайником, хлопает дверцей холодильника. Он никогда не включал свет, наверное, думал, что этим всех разбудит (а будил шумом). Уходя на работу, он заходил в мою спальню, ударял по выключателю и кричал:

— Подье-ом!

Я вскакивала, бежала на кухню чистить зубы (у нас не было умывальника в ванной), елозила щеткой во рту и смотрела в кусок зеркала, прикрепленный к дверце шкафчика. Утренние глаза, большие и темные, меня пугали.

Папа подходил, спрашивал что-то вроде:

— Сколько уроков сегодня?

Или:

— Домашнее задание сделано?

Я мычала что-то, а он ерошил мои волосы и весело говорил:

— Та-ак, понятно: поднять подняли, а разбудить забыли! А ну-ка умойся! Давай-давай, а то я сам тебя умою, как маленькую!

Я ненавидела умываться, вода была холоднющая, противные ручейки вечно текли по шее на грудь или спину. Но если я не умоюсь сама, отец и правда плеснет на меня ковшом воды из ведра, так что и волосы будут мокрые, и пижама.

Поэтому я все-таки умывалась — лицо в зеркале становилось мокрым, а глаза — нестрашными.

Уходя на работу, папа говорил на прощание:

— Смотри не опоздай! Двойка — ерунда, а за замечания получишь ремня.

Папа считает, что если человек не опаздывает и не получает замечаний, то все остальное ему можно простить. Но про ремень он просто говорит (я думала, что все папы только грозят ремнем, пока случайно не узнала, что Гордеев отец бьет его до синяков).

После ухода папы я должна позавтракать, а потом — в школу. Но сейчас, когда мамы нет, все идет как-то не так. В школу совсем не хочется. Папа оставил мне на тарелке пару бутербродов с маслом и сахаром, а на столе — денежку! Ого! Это же целых две жвачки! Праздник!

Тут я окончательно понимаю, что в школу не пойду. Я пойду на станцию, куплю жвачку и буду ее жевать, пузыри попробую надувать. Даже, может, одну жвачку спрячу для малой, чтоб ее порадовать, когда она поправится. Чайник еще горячий, я налила себе чая, позавтракала и, счастливая, пошла одеваться. Заметила, что ведро с водой почти пустое, и в порыве ответственности и

самостоятельности, о важности которых так часто говорили взрослые, решила сходить на колонку.

Мама, вообще, не любила, чтоб я ходила за водой.

— Набирай полведерка! Не носи тяжелое! Зачем ты спину рвешь? — ругалась она вместо благодарности, если я таскала ей воду, когда она стирала. — Саша, ну отбери у нее ведро!

Папа вырывал у меня из рук ведро:

— Я носить буду! Иди, матери поможешь полоскать!

Полоскать мне совершенно не хотелось, потому что мыльные, скользкие тряпки были противными, как слюнявые поцелуи (еще в садике я пыталась целоваться с Гордеем, мальчиком из нашего дома).

Но сегодня я вполне могла сходить за водой. Накинула пальто и вышла (а мама бы сказала: куда, а шапка? а сапоги?). Оттепель, в которую мы с сестрой заболели, сменилась похолоданием. Двор был весь в снегу, на качелях лежал как будто аккуратненький белый коврик, а у слона на дереве из снега получилась шапка-пирожок, вроде той, что носил наш председатель (чего он там председал, я не знала, просто его так звали). К колонке была протоптана тропинка. Две бабки из соседнего подъезда — Гордеева и другая (не помню, как ее звали, у нее нос был как кусок пемзы) — сутились возле колонки. Рядом с ними стояли санки, а на них — пустые ведра. Незапомнившаяся бабка держала лом, а Гордеева — лопату. Бабка с ломом изо всех сил била им по колонке, околачивая лед. Гордеева отгробала в сторону ледяное крошево.

— Чего стоишь? — рявкнула мне Гордеева бабка.— И в тапках! Иди бери, поди работает уже! А ты,— крикнула она своей товарке,— хватит! Еще сшибешь ее к хренам!

Конечно, о том, чтоб набрать полведра, и речи быть не могло. Я не могла уйти с полупустым ведром на глазах у этих могучих бабок. Поэтому я набрала ведро до самых краев, так что при первом же шаге вода выплеснулась прямо мне в тапки.

Дома, ругаясь на себя, я передела колготы, натянула сапоги и куртку, захватила портфель для конспирации — и отправилась гулять.

Я специально пошла в сторону, противоположную школе, — на станцию. Путь пролегал по дорожке через небольшую лесопосадку. Идти минут десять. На станционном рынке всегда гораздо теплее, чем у нас во дворе, наверное, потому, что там есть много яркого, а у нас одна снежная бель: глаз зябнет. А еще на рынке вкусно пахнет чебуреками, играет музыка из колонок возле ларька, где торгуют кассетами. Я успела поглазеть на все: и на торсы манекенов, обтянутых модными разноцветными кофтами, на веселые погребальные цветы и ларьки со сладостями.

На обратном пути я столкнулась с Тенью. Она прошла рядом со мной, так рядом, что я заметила, как в ее распущенных темных волосах блеснула сединка. Не знаю, что тогда меня дернуло, но я развернулась и последовала за ней. Она шла впереди, ровно, не сбиваясь с ритма, как заведенная. Куда? Мне было интересно (я сыщица!) и немножко стыдно (я шпионка!). Казалось, что она